

рѣчи порядка слов. Разумѣется, между «прозой» и «поэзіей», в условном значеніи этих терминов, нѣт точной границы, и такое соскальзывающее «прозы» в «поэзію» — факт обычный, неизбѣжный и вполнѣ законный тогда, когда высказываніе носит конкретный, цѣлостный поэтическій в точном смыслѣ слова, характер, когда им передается не отвлеченная мысль, но переживанія (жизнь и есть движение, ритм). Но когда мы замѣчаем, как это движение рѣчи достигнуто, средство засложняет в нашем сознаніи результат. Я останавливаюсь на этом потому, что чѣм ближе произведеніе художественнаго слова к тому, чѣм оно должно быть, к поэзіи, т. е. выражению одной художественной идеи, тѣм досаднѣе, когда это его единство нарушается — и при том такими, чисто вѣшними, стилистическими приемами, которые никак не обусловлены его содержаніем, материалом повѣствованія, когда, слѣдовательно, вѣшняя форма не выражается внутренней и красота подмѣняется **красивостью**.

П. Бицилли.

**О. О. Груzenберг.** Вчера. Париж. 1938.

... «Петражицкій «с присущей ему стройной логичностью и тщательной методичностью в аргументации нарисовал картину гибели обреченной, как он выразился, Европы, описал точно пути, по которым пойдет эта гибель, и назначил примѣрные сроки. Мне трудно было ему возражать, так как сам думаю приблизительно то же, но с той лишь существенной разницей, что не считаю общечеловѣческой гибелю крушеніе міровоззрѣнія моего поколѣнія, равно, как глубоко вѣрю, что «золотой вѣк» — не позади, а впереди, всегда и во всем впереди».

... «Русская революція — национальнейшая из национальных, и суровость ее тоже национальная. Там, где долго льются слезы, неотвратимая расплата — кровь».

... «Ничего не кляну, ни от чего не отрекаюсь, ни о чем не жалѣю». Этими настроениями проникнута книга О. О. Груzenberga. Характерны ея начальные строки:

«Первое слово, которое дошло до моего сознанія, было русское. Я полюбил этот удивительный язык: в ласкѣ шелковисто — нѣжный, завораживающій; в книгѣ — простой, просвѣщающей до невозможности скрыть малѣйшую фальшь; в испытаніях борьбы — подмороженный, страстно — сдержаннѣй».

Автор не повторяет тургеневской мысли о величинѣ народа, создавшаго такой язык, — но она сквозит в его книгѣ.

Столь же влюбленно — восторженны отзывы автора о среднем русском человѣкѣ, о русском народѣ. Даже в главѣ «Срам», отведенной воспоминаніям о дѣлѣ Бейлиса, О. О. Груzenберг пишет:

«Дана им, этим русским людям, большая душа, которая болѣет чужой болью, как своей, даны совѣсть, большая совѣсть, которой есть дѣло до всѣх дѣл мира, до всякой неправды».

Автор вѣрит в Россію, вѣрит в русскій народ. Вѣрит и в человѣка вообще:

«Сердечных людей встрѣчал я всюду, — даже там, гдѣ менѣе всего ожидал их найти. Кстати: отчего даже злые люди стараются казаться добрыми? Без большого спроса на этот товар кому охота насиливать себя?»

Значительная часть книги занята описаниями тягостных, часто мучительных трудов, которых требовала в Россіи судебная защита человѣка и права. Но и о русском — дореволюціонном — судѣ автор пишет:

«Такого суда — говорю без преувеличенія — не знала Западная Европа. До закона 18 марта 1906 г. о передачѣ в особыя присутствія судебных палат политических дѣл, — закона, повлекшаго за собою назначеніе судьями всяких угодливых карьеристов, — русскіе суды были подвижниками».

Автор не связывает себя задачей обосновать свою вѣру в будущее. Он просто вспоминает о дѣтских переживаніях, об отроческих годах, о гвардейском офицерѣ, перешедшем в юдейскую вѣру, об издѣвателѣстѣ (кіевской полиції) над матерью, об университѣтѣ, о крестьянах и рабочих, о судебных процессах, о союзѣ русского народа; отдѣльные главы посвящены В. Г. Короленко, М. Горькому, А. Ф. Кони, А. С. Зарудному, Л. М. Петражицкому, А. В. Пѣшехонову, М. В. Батсон, поэту Фругу и др. Но о чём-бы ни вспомнилось О. О. Груzenбергу, он умѣет видѣть, по его выраженію, толщу, сущность, а не только досадные наросты. Даже в двух жутких главах о процессах военного времени (онъ названы «Бред войны» и подчеркнуты в оглавлении) сам собою получается вывод: «несправедлив соціальный уклад», ужасны условія, но человѣк хорош, в человѣка можно и должно вѣрити.

Это — не предвзятость, не тенденція; старый защитник так смотрит на мір: качество, вѣроятно, врожденное, хотя и развитое много летней профессіональной дѣятельностью. Он вспоминает о дѣлах минувших и даже давно минувших. Но для него они — не потонувший мір. Они были вчера, — и не только потому, что свѣжи в памяти. Рѣка времен не остановилась. «Вчера живет в «сегодня». И, быть может, то цѣнное, что постѣяно вчера, прорастет и зацвѣтет завтра. Как бы ни казался тяжким нынѣшний день по сравненію со вчерашним, но «золотой вѣк» — не позади, а впереди, всегда и во всем впереди».

Интересная, бодрая и цѣнная книга.

А. Петрищев.

André Maurois. — «La Machine à lire les Pensées». — Gallimard, Paris. P. 217.

С чисто литературной стороны, новый утопический роман Моруа значительно уступает первому («Взвѣшиватель душ»). В «Машинѣ для чтенія мыслей» художник явно капитулировал перед мыслителем. Здѣсь Моруа затронул серьезные психолоіческія и соціологические проблемы и сравнительно мало заботился о художественной правдѣ и